

К ГОДОВЩИНЕ ТРАГЕДИИ ХОДЖАЛЫ

НУШАБА МАМЕДЛИ

МЕЛОДИИ БОЛИ

Повесть

(Сокращенный журнальный вариант)

Перевод Арзуханым АЛИЗАДЕ

І часть

Я переводчик. По роду деятельности мне часто приходится бывать за рубежом. Как-то раз я с мужем попала в одну из западных стран. После последнего тяжелого рабочего дня, усталые и разбитые, мы решили поужинать в ресторане «Восток». Дизайн здесь действительно во всем напоминал восток; слышалась турецкая речь. Только мы приступили к ужину, как зал наполнился звуками музыки. Под эти звуки удивительный, чудный голос, стонущие интонации которого болью отзывались в душе, унес меня в мое далекое прошлое. Мне показалось, что я снова там, на такой желанной, но такой недостижимой родине. Этот голос уносил меня туда, в прекрасное далеко, в то родовое гнездо, находящееся сейчас под пятой захватчика. Казалось, в этом голосе звучало журчанье кипучего Гаргара, казалось, этим голосом трелью заливался гарабахский соловей, казалось, этот голос словно звуки настроенного в ладе «Сегях» азана, раздающегося с высоких минаретов мечетей, оплакивал души умерших.

Певица удивительно трогательно пела:

Если б кто-то смог меня понять,
Добрим словом боль мою унять,
Если б обрести вновь край родимый,
Я б не стала плакать и стонать.

Я обернулась в ее сторону. Тонкого телосложения, с длинными темными волосами, певица напоминала марионетку. При взгляде на это тщедушное создание возникало недоумение: откуда возникали эти сильные высокие звуки, эти бесконечные ругады?

– Эта девушка из Гарабаха, – сказала я и поднялась из-за стола. Подошла к сцене и на родном языке обратилась к девушке:

– Хочу поговорить с тобой.

– Это невозможно! – пугливо оглянулась девушка.

– Когда мы можем встретиться?

– Надо спросить разрешения у патрона, – ответила певица и торопливо удалилась.

Расстроенная, я возвратилась к нашему столу.

Зазвучали новые песни, надрывные, стонущие, словно замешанные на мольбе и стенаниях – турецкие, арабские, персидские, узбекские, таджикские... И вдруг словно неожиданный вскрик, мольба о помощи, желание быть услышанной:

Край родной мой, Гарабах,
Шеки, Ширван, Гарабах.
Пусть весь мир цветущий сад,
Не забыть мне Гарабах!

– Эта девушка точно из Гарабаха! Надо найти хозяина ресторана и поговорить с ним. Мы обязательно должны с ней встретиться!

Муж ушел и вернулся довольный:

– До полуночи она будет петь, а потом в нашем распоряжении. Девушка куплена, целиком зависит от патрона. Она что-то вроде его личного имущества. Но любой желающий может заплатить, оставить адрес и увести ее.

Наконец девушка закончила петь, и мы встретились на выходе. Я так обрадовалась, словно кто-то из родных вернулся из далекого, трудного путешествия. В брючках эта тоненькая девушка выглядела совершенным заморышем. Я обняла ее и в слезах прижала к груди. Приехав в отель, я заварила чай и, по давней привычке кончиками пальцев размяв зернышко кардамона, который всюду вожу с собой, бросила в чайник. Этот жест послужил началом для беседы. Девушка, улыбнувшись сквозь слезы, сказала:

– И бабушка так делала.

– Где? – спросила я, радуясь тому, что она заговорила.

– В Гарабахе. Я из Гарабаха, – тихо произнесла она...

– Как тебя зовут, как ты сюда попала?

– Зовут меня Рагима. Мама моя была очень красивой, работала врачом. Отец, сколько себя помню, носил военную форму. Помню, училась в третьем классе. Армяне тогда обстреляли школу, погибло много детей. После этого родители боялись нас туда отпускать. Каждый день дома шли разговоры об отъезде. Больше всех об этом твердила бабушка. Она говорила отцу, дяде, что сами воюете – воюйте, на то вы и мужчины, чтобы защищать семью от врага. Только женщин и детей надо увести подальше.

В ответ отец и дядя всегда смеялись и отвечали:

– Ну что ты, мама, ну, кто такой армянин, чтобы мы из-за него покидали свой отчий кров?

Не прошло и двух дней после этого разговора. Была холодная февральская ночь. От гула снарядов и рева танков закладывало уши. Мама в смятении спешно одевала меня и моего полуторагодовалого брата Рагима.

Мы выбежали на улицу. Людской стон и плач поднимался к небесам. Отец, дядя и несколько других мужчин, стреляя, шли впереди толпы. В одно мгновение все бойцы и большинство жителей были перебиты, в том числе, отец и бабушка. Дорога со всех сторон оказалась закрыта большими машинами. Оставшихся женщин и детей окружили и стали, словно скот, заталкивать в эти машины. Увидев это, наш сосед, дядя Исафил, застрелил двух своих дочерей, жену и невестку. Затем выстрелил в армянина, стоявшего на машине. Армяне бросились к дяде Исафилу, но он сам пустил себе пулю в голову.

В толпе мы потеряли моего брата, завернутого в большой платок, мама плакала и звала его. Вдруг кто-то, услышав мамин голос, сказал:

– Ха, доктор Исмет, это ты? Ахчик, ты мне давно нравишься!

Это был Ашот, который на своем осле привозил и продавал нам хворост. Каждый раз, когда бабушка угощала его яичницей и чаем, он рассыпался в благодарности:

– Вы человеческие люди. Дай бог вам жизни. До смерти не забуду ваш хлеб-соль. Наши не такие. Теперь тот самый Ашот, схватив маму за руку, бросил ее в кузов машины.

...Девушка рассказывала, губы ее от волнения пересыхали, и она часто облизывала их. Я сказала:

– Рагима, дочка, выпей чайку. И туфли сбрось, пусть ноги отдохнут.

Когда девушка их сняла, я увидела, что она заметно прихрамывает. С удивлением я взглянула на ее туфли: один из каблуков был сантиметров на пять выше другого. Тут мое внимание привлекли ее большие миндалевидные глаза. Один глаз был неподвижен. Я поняла, что он искусственный.

После чая, раздумывая о том, как бы своими вопросами не обидеть девушку, я спросила:

– Рагима, хромота твоя совершенно не была заметна... Это у тебя от рожденья?

– Нет. Когда нас привезли в Ханкенди, начали всех вытаскивать из машин. Маму выкинули первой. Она закричала, что ее ребенок остался в машине, и Ашот выбросил меня за борт. А на меня сбросили тетю Набат, которая считалась в деревне самой толстой женщиной. Ногу разорвала ужасная боль.

Нас поместили в стойле для скота. Ашот приходил и говорил маме:

– Сейчас мы немного заняты. Как только освободимся, приду, не бойся, я тебя никому не отдам, ты моя.

Каждый раз, когда армяне открывали двери, все пытались спрятаться за чьей-нибудь спиной. А те, присмотревшись, выбирали самую красивую из девушек и уводили ее. В то время я ничего не понимала, мне было девять лет. Мне казалось, что их уводят для того, чтобы избить, потому что их, по возвращении, как мертвых, бросали на пол, в рваных одеждах, с кровоточащими губами, с

синяками на шее и груди. Женщины постарше смотрели на них и приговаривали:

– Джан-джан, о, несчастная, что же ты вовремя не покончила с собой?

...Через три или четыре дня пришел Ашот, пьяный вдрызг, и начал грязно приставать к маме.

Получив сильный отпор, он в отместку выбил мне глаз.

От боли все вокруг словно потемнело. Последнее, что я помню – это мамин крик. Когда очнулась, увидела себя на ее руках. Ее волосы были растрепаны, лицо исцарапано, губа разбита. Она плакала и приговаривала:

– Дитя мое, если б тебя не было, я б тогда могла покончить с собой.

Спали мы сидя, не было даже места вытянуться, солону накидали только в одном углу стойла.

Каждое утро, когда звякала дверная цепь, все в страхе прижимались друг к другу. Счастье мерялось пребыванием в дальнем конце стойла. Старые женщины сами проходили вперед, стараясь держать молодых подальше от глаз. Как-то зашел пьяный, обкурившийся армянин и увидел у двери бабушку Хаджар.

– Ах ты, старая карга! Завидуешь тем, кого мы увели? Ну что же, раз и тебе хочется, и тебя оприходуем.

Позвал товарищей, он крикнул:

– Начинайте со старух. Да прямо здесь... пусть им будет уроком. Они, понимаешь, о чести-достоинстве заботятся. Да вас продали вместе с честью, достоинством, всем вашим имуществом, вместе с землей!

Тетя Захра наклонилась к маме и прошептала:

– Это они от злости так делают, мстят нам за то, что их девушки по собственной воле гуляют с нашими парнями.

Мама крепко прикрыла мой здоровый глаз и спрятала мое лицо у себя на груди. Ее грудь стала мокрой, потому, что из моего выбитого глаза все время капало что-то черное. Она дрожала. То, что армяне сотворили в тот день с бабушкой Хаджар, в стократ больше унизило нас морально, раздавило, отняло последнюю надежду.

...На следующий день бабушка Хаджар повесилась.

...Подобных историй было много. Кто-то не выдерживал стона своего ребенка и кончал с собой.

Кто-то, увидев его смерть, сходил с ума. Кто-то убивал. Но не себя.

Наша соседка, тетя Шейда, родила своего сына после бесплодных четырнадцати лет. Двухлетний малыш не выдержал холода, сырости и заболел; все время просил пить. Тетя Шейда, забыв про гордость, попросила для больного малыша горячего чая. Вместо чая вошедший армянин помочился в подставленную кружку:

– Отлично! А то неохота в такой холод далеко ходить. На, горячий, аж дымится!

Через два дня ребенок умер...

Сначала тетя Шейда плакала, кричала, а потом сошла с ума:

– Дайте дорогу, сегодня свадьба моего сыночка, малая свадьба, суннет! Девушки, накрывайте столы!

На крик пришли два армянина, один из них тот, кто предложил «горячего чая». Увидев на руках женщины высохшего, превратившегося в безжизненную куклу ребенка, ослабил и спросил:

– Что, сдох?

Тетя Шейда как будто пробудилась ото сна. Как разъяренная львица, она в мгновение ока бросилась на одного, схватив его за бороду. Когда второй армянин поспешил на помощь товарищу, тетя Шейда как пиявка вцепилась двумя руками в низ его живота и крутила там, как крутят руль. Армянин обмяк и, как дерево, вырванное с корнем, повалился наземь. Прибежали остальные армяне, началась свалка. Тетя Шейда упала на поверженного врага, который, оказывается, умер. Из-под лопатки тети Шейды торчал большой охотничий нож. Но на ее побледневшем лице была улыбка отмщенья.

Легкая улыбка тронула и губы моей мамы:

– Тот, которого придушила тетя Шейда, это Ашот... – прошептала она.

Через день нас вывели во двор. Не было сил идти – в качестве наказания уже вторые сутки нам не давали даже воды. Посреди двора стоял гроб с телом Ашота, покрытый армянским флагом и украшенный цветами. После рассказа о геройстве Ашота и его смерти от рук бездушной тюрчанки к гробу подвели трех молодых военнопленных азербайджанцев. Всем троим отрубили головы.

...В тот же день у матерей отобрали детей. Для женщин это было самым страшным из наказаний. Я осталась с мамой. Меня, видимо, они уже не считали ребенком.

С каждым днем наше положение ухудшалось. Голова раскалывалась от зловония, все чесались,

блохи и вши ползали по лицам.

...Оставалось несколько дней до Новруз байрамы. В дверях показались армяне – заходить внутрь они больше не решались.

– Через неделю ваш национальный праздник, а через месяц наш самый трагический день – день геноцида армян. Сделаем так, чтобы и вам было хорошо, и нам. Мы не так уж слабы на память. Женщина, стоявшая рядом с мамой, зашептала:

– В этот день армяне своим малышам не объясняют, кто их родители. В первую очередь шепчут им на ухо: «Ты армянин! А турки – наши враги! Ты должен притвориться другом турка, должен доказать, что ты ему ближе его отца-матери. Если надо будет, мыть ему ноги и пить эту воду. Но когда пробьет час, ты должен так ударить его, чтобы он больше не смог подняться!.. Для армянского народа нет хорошего турка – это должно быть твоим девизом...»

А армянин тем временем продолжал:

– А теперь скажите-ка, сколько вам костров разжечь, чтобы всем хватило перепрыгнуть через них? Хуршуд-муаллима, преподавательница из нашей школы, громко ответила:

– Нисколько!

Через час нас снова выгнали во двор, и Хуршуд-муаллиме на глазах у всех разорвали ворот платья.

– Это она отказалась от символа их национального праздника – костра? – спросил похожий на гриб армянин. – Маладес, за это ее надо наградить.

Через мгновение к левой груди Хуршуд-муаллимы армяне прижали раскаленный железный крест. Шипение жареного мяса и ужасный запах заполнили все вокруг, но женщина даже не шелохнулась. Похожий на гриб армянин пришел в неистовство:

– Отрежьте ей правую грудь, турки – как собаки, ничего на них не действует! Ту, где выжжен крест, символ нашей чести – не трогайте.

...Прошло несколько дней и наступило 21 марта. Двое здоровых бородачей, с трудом втащив в стойло огромный дымящийся котел, оставили его у двери и гадко ослабились:

– С праздником вас, ешьте на здоровье! Армянский народ прислал вам подарок!

По стойлу распространился запах мясной пищи. Все растерянно смотрели друг на друга. Тетя Гумру повертела половником в котле и, громко охнув, потеряла сознание: котел был полон отрезанными пальцами, ушами, носами, глазами, женскими грудями... Самым страшным было то, что посередине всего этого плавала волосатая, бородастая голова с выбитыми зубами. Котел тут же накрыли крышкой. После этого случая семнадцать женщин то ли от испуга, то ли от брезгливости заболели желтухой и умерли.

...Через пару дней нас выгнали на улицу, затолкали в машины без окон и вывезли со двора. Когда приехали, мама, опасаясь нового падения, решила выйти из машины вместе со мной.

Сделать это было сложно, машина была высокой. Мама, взяв меня на закорки, собралась прыгнуть, но в это время армянин в военной форме нервно крикнул:

– Ну, разве можно так прыгать? А потом будут говорить, что армяне искалечили...

С осторожностью, никак не вяжущейся с гневом, звучащим в его голосе, он снял меня с маминой спины и поставил наземь. То же самое произошло и тогда, когда спускалась бабушка Гиямет.

...Оказалось, нас привезли в баню. Заставив раздеться прямо на улице на глазах у всех и отобрав нашу завшивленную одежду, нам позволили помыться и выдали новую одежду – одинаковые темно-синие бязевые халаты, такие же косынки и грубые калоши.

...Было раннее утро, женщин по одной куда-то увозили. Распоряжался армянин, помогавший нам спускаться. Его звали Гурген Аллахвердиян. Я услышала, как он сказал:

– Завтра обменяем их на наших солдат.

Меня захотели отнять у мамы. Спокойная, кроткая женщина в мгновение ока превратилась в орлицу:

– У нее повреждена одна нога, ей выбили глаз! Вы можете отнять ее у меня только через мой труп!

– Отвезите их к Самвелу, – распорядился Гурген.

...Так мы попали в рабство к армянской семье. Мы жили в подвале, ели объедки, что приносила жена Самвела, спали на мешках из-под картошки. Мама выполняла всю черную работу, вставая с рассветом и ложась поздней ночью. Я сидела в подвале, нога и глаз по-прежнему сильно болели. Так прошло несколько месяцев.

...Однажды утром приехал Гурген. С ним были мужчина и женщина, говорившие на иностранном языке. Гурген переводил. Оказалось, представители Красного Креста узнали, что армяне очень

плохо содержат пленных азербайджанцев, и приехали с проверкой.

Узнав это, Самвел страшно перепугался – и было от чего. Поговорив с женщиной, пришедшей в ужас от вида нашего жилища и моих увечий, мама поняла, что всю гуманитарную помощь – несколько ящиков с медикаментами, одеждой, одеялами и прочими предметами первой необходимости – Самвел присвоил себе.

– Если у него не было условий, почему он не сообщил? – возмущалась женщина. – Пусть принесет все, что получил от Красного Креста.

– Будет сделано, будет сделано, – заюлил Самвел и поспешно вышел.

– А что с глазом ребенка? – участливо спросил Гурген.

– Вы выбили!..

Эти слова мамы подействовали на Гургена, словно удар. Виновато пробормотав «Почему я?», он отошел.

Тут Самвел принес ящики со знаками Красного Креста на крышке. Чего там только не было!..

– Почему ты позоришь нашу нацию перед иностранными представителями? – со злостью шептал Самвелу Гурген (пожив с армянами, мы стали потихонечку понимать их язык). – И так тебе, как и всем, у кого сыновья в армии, ежемесячно выдаются продукты и деньги. Ара, не стыдно тебе? Ты же сам по-соседски попросил у меня, мол, Гурген, пришли к нам одного-двух пленных, я присмотрю. На всякий случай. Не дай Бог, вдруг мой сын попадет в плен, обменяем.

В это время женщина выясняла у мамы, как получилось, что у меня поврежден глаз. Выслушав ее, она велела отвезти нас в больницу.

...Начались наши самые светлые дни. Нас поместили в светлую комнату, всюду чистота и порядок.

Мне сделали операцию. Оказалось, мой глаз был настолько запущен, что пришлось его удалить.

Мама плакала, а мне было уже как-то все равно – главное, что кончилась постоянная боль...

Почему-то вспомнились слова, сказанные нашей учительницей родного языка на первом уроке первого класса:

– Мы являемся гражданами независимого, сильного государства. У нашего государства есть такой великий народ, как мы. Никто не может победить этот народ. Нас много, братья-турки тоже с нами. Мы с турками считаемся двумя сыновьями одной матери, двумя ветвями одного дерева.

Оказывается, все, что она говорила – это неправда, думала я сейчас. Если это действительно так, то почему этот великий народ не пришел нам на помощь? Куда пропали те, что называли нас друзьями, братьями? Почему не перешли в наступление и не уничтожили армян? Если вы не можете быть старшими, если не умеете руководить, тогда что вы за отцы народа? Почему рветесь к власти? Всех вас ненавижу! Мой отец один был в тысячу раз мужественнее, честнее и лучше вас всех! Я вспомнила и выступление приехавшего из Баку холеного мужчины, собравшего на площади людей и проводившего собрание. Мужчина, показывая рукой куда-то вдаль, будто бы рассердившись, говорил с пеной у рта. Подняв указательный палец, загнув все остальные, тряс рукой, будто угрожая кому-то и чуть ли не крича, говорил:

– Никто не должен покидать свои дома! Если кто-то вам скажет: «Уходите, оставьте свои земли, армяне вас истребят!», плюньте ему в лицо! Не верьте ему, это диверсия! Мы поддерживаем вас.

Если хоть один волос упадет с головы хоть одной женщины, я привезу сюда свою семью, свою мать, свою сестру, своими руками брошу армянам и уеду! Поймите, что я говорю, матери, сестры, я мужчина. Как вы думаете, может мужчина лгать, говоря такие слова? Для нас честь, достоинство – это честь и достоинство не только нашей семьи, но и всего Азербайджана!

Оказалось, его гнев, его слова – все было ложью. Не прошло и пяти месяцев после этих торжественных слов, как мы подверглись этому позору, мукам, истязаниям, Или, может быть, после Ходжалинских событий он пустил себе пулю в лоб или повесился? Сердце мое сжалось, я подумала: наверное, он нас обманывал. Он все еще ездит по районам, выступает там с такими же речами. Наконец, после того, как ударами рукой по груди убедит людей, по дороге домой говорит про себя:

– Ну вот, и это урегулировали. Теперь нужно ехать в такой-то район, - и готовит очередное выступление.

Верю, что ничего из того, что пришлось наблюдать мне, вы в жизни своей не видели. И хорошо, что не видели, я и не желаю вам когда-нибудь увидеть такое. Может быть, вы себе и представить не можете тех мучений. Не только вы, никто не может представить. Потому, что эти муки не вмещаются в голове.

За эти два месяца я будто повзрослела на десять лет.

...Как бы нам не было хорошо в больнице, мы не могли не переживать, что вскоре придется

вернуться к Самвелу.

– Мама, я хочу, чтобы нас оставили здесь. Ведь у меня очень болит бедро. Пусть теперь его оперируют. Потом придумаем еще что-нибудь.

...Я была готова на все, лишь бы не идти обратно к армянам.

...Через три дня я уже была на операционном столе.

...Прошло две недели после операции. К тому времени рана на месте глаза полностью зажила, и мне вставили искусственный глаз. Мама постоянно делилась со мной своими надеждами на спасение и связывала их с Гургеном.

– Мама, кто такой Гурген? Один из этих дикарей-армян! Неужели остался хоть один армянин, которому ты можешь доверять?

– Когда он в последний раз был здесь, я внимательно посмотрела на его затылок, – прошептала мама. – Он у него не плоский. Армяне младенцев всегда укладывают спать на спине. И у взрослых затылки остаются плоскими. А у этого не так.

На следующий день, когда мы медленно прогуливались по больничному коридору, увидели девушку. При взгляде на ее лицо я вздрогнула. На обеих ее щеках были наколоты слова: «Гарабах принадлежит армянам, и мы принадлежим армянам».

Мама подошла к девушке и стала ласково ее расспрашивать. Девушка отвечала короткими, обрывочными фразами, пытаясь скрыть свое лицо. Видимо, нервы у нее были на пределе.

Говорила она долго, ее рассказ невозможно было слушать без содрогания.

– ...и когда Гурбан узнал, что со мной сделали, тут же пришел к нам и, полумертвую, привез сюда. И других пленных приказал срочно раздать по домам.

– Кто такой Гурбан? – спросила мама.

– Гурген! – начала шепотом объяснять девушка. – Сын нашего сельчанина Сархада и армянки Нунэ. Когда Гурбану было шесть, Сархад погиб – армяне бросили в темноте перерезанный высоковольтный провод. Начальник милиции тоже был армянином, вот и не стали расследовать это дело. Нунэ через год вышла замуж за своего. Он изменил имя ребенка: Гурбана превратил в Гургена, Аллахвердиева – в Аллахвердияна, отдал в армянскую школу-интернат, потом – в военную школу.

Меня Гурбан случайно узнал. «Я всех вас обменяю, – сказал он. – А пока помещу тебя в больницу. Не смотри на меня с такой ненавистью, клянусь Богом, делаю все, что в моих силах. Только пойми правильно, не могу я бросить мать! Знаю, она сделала по отношению ко мне много недостойного, но ведь она меня родила»...

Закончив рассказ, девушка спешно удалилась. А мы остались в смутных надеждах...

Вскоре нас навестили из Красного Креста и сказали, что скоро обменяют на военнопленных. От радости наши сердца готовы были выскочить из груди. Однако мама все время о чем-то думала...

– Не хочу, чтобы ты очень уж всему верила, – сказала она как-то. – Мечтаю, как нас обменяют, покажут по телевизору. И тут я скажу: «Наивный, простодушный народ мой, если когда-нибудь, даже спустя пять веков, скажут тебе, что армяне наши друзья – не верьте. Знайте, готовится новая игра. А мы жертвы этой игры. Народу преподносят ложь, говоря: «Идут переговоры! Ведется работа. На днях будет разрешен Гарабахский вопрос». Не верьте. Этого не будет ни через три года, ни через десять лет. Это все пустые слова. Если хотите вернуться на родину, вставайте сейчас! Ценою своей жизни освободите наши земли! Никто нам ее не вернет. Если весь Азербайджан не хочет нам помочь, нас самих, гарабахцев, вполне достаточно, чтобы защитить себя. Но бойтесь своего будущего! Потому что наших сородичей, находящихся там, под пятой армян, будут называть «пленными», а находящихся здесь – «беженцами», «нищими», «безродными». Наши дети будут чувствовать себя людьми второго сорта. Они будут с завистью смотреть на обычные дома с целыми окнами и дверьми и считать их недостижимой вершиной благополучия. Бойтесь, потому что придете сватать для сына девушку и получите ответ: «Мы не отдадим дочь за беженца». И почувствуете себя оскорбленными. Чтобы уберечься от всего этого, уже сегодня примите меры, чтобы не смотреть на родную землю с тоской, чтобы не кручиниться о недостижимых могилах предков!.. Почему мы должны сегодняшних врагов оставлять в качестве наследия будущим поколениям? От отца сыну может остаться в наследство имущество, состояние, конь, верблюд! От отца сыну не может остаться в наследство враг! Гарабах должны освободить люди с гарабахским пламенем, Гарабахской болью в груди! Удар армянам должны нанести люди, видевшие армянские истязания, получившие от армян неизгладимую обиду! Сегодня есть такие люди, они пока еще в силах воевать, они полны решимости. Потом, даже если они очень захотят воевать, годы возьмут свое. Упавшие, забытые и засыпанные камнями, умершие, попавшие в плен

– все это мы. Вести войну должны тоже мы!»

Тут мою речь, конечно, прервут и скажут: «Мы вам показали выступление психически больной женщины. Здравомыслящая мать не может желать войны».

...Мама не закончила, вошел Гурген, стал что-то ей объяснять. А я думала, думала... Он не только не захотел бросить свою мать, хотя наверняка узнал, что его отца убили армяне, что ему даже имя сменили. Но он и не попытался это исправить. Значит, он не только не захотел бросить недостойную мать, но и поддерживал ее.

– Ну, о чем задумалась? – услышала я голос Гургена. – Готовься, через неделю поедешь в Азербайджан, – сказал он и улыбнулся.

Я посмотрела на маму и спросила:

– Мама, а где мы сейчас? В Армении?

– Это Гарабах! – сказал Гурген и, несмотря на то, что он сделал для нас много хорошего, улыбнулся хитрой улыбкой. Он не мог быть Гурбаном, он был Гургеном! Он отказался от Богом данного: отвернулся от отца, деда, от рода, от племени и полностью стал армянином.

...Когда за нами пришла машина, мы готовы были пуститься в пляс, но нас как-то очень грубо туда затолкали. Когда машина остановилась и мы вышли, то увидели, что стоим... перед воротами Самвела.

– Э-э, ну что, прикончили тюркского ублюдка? – засмеялся вышедший к нам Самвел. – Разве он не знал, что того, кто предал материнское молоко, ждет такой конец? Так и должно быть с теми, кто играет на два фронта.

В полной апатии мы прошли в свой подвал. Нечего и говорить, что от ящиков с красным крестом на крышке не осталось и следа. Мы снова спали на мешках и питались объедками.

...В один из дней, когда в доме были гости, в подвал спустилась Айкануш, жена Самвела. В руках у нее были большие ножницы.

– К нам из Еревана приехали родственники. Племяннице очень понравились твои волосы. Распусти косу, я отрежу ее и отдам ей. А то она есть не хотела, – капризным, как у ребенка, голосом сказала она моей маме.

Мама, косым взглядом окинув женщину, спросила:

– Какое ей дело до моих волос? Куда она их посадит? У человека должны быть свои волосы.

Женщина гневно подвинулась вперед:

– Эй ты, болтай поменьше! – И потянулась к маминой голове.

– И зачем мне волосы? – пробормотала мама. – Дай ножницы, я сама их отрежу. Они и так стали для меня обузой.

Я думала, мама изрежет свои волосы на мелкие кусочки, чтобы им не достались. Но нет, мама действительно отрезала косу. С трудом, такая та была толстая. Как бы прощаясь, она погладила ее до кончика, осторожно скрутила в ладони и отдала женщине. Та ушла.

Глаза мамы наполнились слезами. Я тоже готова была разреветься.

– Не переживай! На что мне теперь волосы? Твоему отцу очень они нравились. Он в шутку говорил, что поллюбил меня за мои косы, и если я захочу развестись с ним, достаточно будет их отстричь. Сейчас, когда нет твоего отца, зачем они мне нужны?

...В это время гости Самвела вышли во двор. Я увидела Асену, его племянницу. Девушка явно радовалась чужой косе. Ее похожие на шерсть мериносовой овцы кудряшки были кое-как собраны на макушке, и туда каким-то образом прикрепили мамину шелковистую косу.

Сердце мое разрывалось от горя и боли.

– Дай Бог, чтобы ты потеряла эту косу! – со злостью зашептала я. – Чтобы тебе было так худо, что некогда было и вспомнить про эту косу! Чтобы вам всем пусто было!

...Прошло несколько дней. Было очень жарко. Внезапно ворота распахнулись, с шумом и причитаниями несколько человек внесли во двор Асену. Лицо ее было мертвенно-бледным, она была без сознания. Айкануш несла мамину косу. Мать девочки плакала и кричала. Просила помощи то на армянском, то на нашем языке.

От ее криков вздрогнула и мама, бросилась во двор.

– Нашатырный спирт, скорее! Аптечку! – крикнула она. Все вздрогнули от неожиданного ее приказа, но, зная, что она врач, бросились за лекарствами.

Когда мама приподняла голову девочки, я увидела, что с той части головы, где ей прикрепили мамы волосы, словно скальп содрали.

Мама делала девочке искусственное дыхание, водила ваткой с нашатырем под ее носом,

обрабатывала рану... Я была поражена действиями мамы. Как она суежилась из-за армянской девочки! Закрытые глаза девочки приоткрылись...

– Асена, не бойся, сейчас тетя вылечит тебя, – льстиво проговорила мать девочки.

Мама повернулась к ней и сказала:

– Надо было сразу везти в больницу. У вас ведь ничего нет.

– Сейчас в больнице обслуживают только военных. Позвонили в «Скорую помощь», но машина пока на передовой. Вдруг Айкануш вспомнила, что вы врач. Что будет с моей девочкой?

Рыдая, она заискивающе смотрела на маму. Мама, скрывая беспокойство, ответила:

– Ничего страшного, наверное, очень испугалась. Как это произошло?

– Ее коса попала в вентилятор. Когда мы подросли, Асена была уже без сознания. Надежда только на тебя, сестра. Помоги, ведь и у тебя есть ребенок. У Асены врожденный порок сердца. Врачи сказали, надо беречь ее от волнений.

...По тому, как долго мама возилась с Асеной, я поняла, что она не верит в хороший исход. Я гордилась мамой, она была настоящим врачом. Она так заботилась об Асене, так переживала за нее, словно это была не та девочка, которая оплевывала черешневыми косточками только что подметенный мамой двор.

...Приехавший, наконец, врач, осмотрев девочку, подтвердил, что мама сделала все, что смогла. Снял кардиограмму: порок сердца снова дал о себе знать. Везти ее в таком состоянии в Ереван было бы безумием.

Всю ночь мы не сомкнули глаз. Девочке было плохо. Врач, не обращая внимания на маму, говорил с Самвелом:

– Люди бастуют, особенно родители тех, кого привезли из Армении, говорят, на что нам Гарабах, почему вы бросаете наших детей под пули? Приютили вас, дали возможность осесть, обустроиться, так вы еще и на их землю претендуете. Зангезур, Гейча, Зангибасар – разве вам не достаточно? Выведите наших детей из вашей гарабахской игры. Из страха перед родителями мы сами хороним погибших...

Мама, пересказывая слова врача, как будто находила в них утешение. В один момент она взяла меня за плечи и прошептала:

– Рагима, они нас боятся.

Затем, прижав меня к груди, крепко расцеловала. И заплакала.

– Мама, почему ты плачешь?

– Сегодня тебе исполняется десять лет, Рагима! В такой день мать, лаская, будит утром свое дитя, вплетает ей в косы красную ленту. Накрывает на стол, готовит сладости, дарит куклы, новое платье. А не ждет, когда же принесут объедки, чтобы выбрать относительно сносные кусочки и дать их своему ребенку. Дитя мое, пусть Господь Бог услышит мой материнский голос, пусть сегодня не случится ничего, что могло бы обидеть тебя, заставить лить слезы!

...Проснулись мы в тревоге – работа не была выполнена, из-за бессонной ночи мама проспала. Она бросилась во двор, но все дела они сделали сами. В этот раз не Самвел, а сама Айкануш спустилась по лестнице и принесла нам еду. Причем не в целлофановом пакете, а на подносе. Давно я не видела таких вкусных вещей! Даже в больнице...

Эта щедрость Айкануш напомнила мне мою бедную покойную бабушку. У нее был красивый перстень. Иногда бабушка говорила маме: «Дай-ка мне мой перстень с армяноподобным камушком, надену». Камень был темно-синего цвета. Но стоило надеть кольцо, как камень становился мутно-голубым. Под лучами солнца светился ярко-красным, а при свете лампы отливал фиолетовым. Бабушка говорила: «Ты посмотри, насколько могут быть похожи мертвые камни и живые люди». Мама отвечала: «Зачем же ты носишь его? Отдай кому-нибудь, чтобы глаза не мозолил». Бабушка в ответ смеялась: «Вот то-то и оно... Вроде бы и знаем, что к чему, а бросить не можем, такого навидались от них, а стоит им надеть новую личину, как мы опять им верим».

С этого утра маму больше никто не заставлял работать, основной ее обязанностью было смотреть за Асеной. Везти ее в Ереван по-прежнему было смерти подобно. Прошел месяц и, наконец, приехал отец девочки. На следующее утро на вертолете Красного Креста ее увезли в Ереван. Дней через пять все успокоилось, кроме мамы. Она вздрагивала от малейшего шума, будто ждала плохой вести. И дождалась.

Айкануш с красным лицом и вышедшими из орбит глазами спустилась в наш подвал и набросилась на маму:

– Ах ты, стерва, ах ты, сучка тюркская, из-за тебя погибла девочка! Сгорела из-за твоих сучьих

волос!

Плача и рыдая, она палкой избивала маму. Мама не сопротивлялась и только закрывала меня собой. Заметив это, Айкануш схватила меня и стала трясти. Мой стеклянный глаз выскочил и со стуком упал на пол. То ли от испуга, то ли от отвращения армянка оттолкнула меня и выбежала за дверь.

...Начались наши черные дни. Случалось, сутками нам даже черствого хлеба не давали. Заставили работать и меня; я делала самую грязную работу.

...В один из дней с фронта вернулся покалеченный, на одной ноге, сын Самвела. Может, из-за войны или ранения, но характер у парня был не приведи Господь. Когда сердился, заливался таким криком, что в ушах звенело. Нас с мамой он ненавидел.

...Часто шли дожди. Культя парня ныла, он обеими руками массировал ее и плакал.

...В тот день моему детству был положен конец. Словно я получила пинок грязным сапогом в спину. И тогда я поняла, что я одинока, незащищена, что я игрушка в их руках. Гарик – так звали парня – потребовал, чтобы я принесла диванную подушку.

Я побледнела, руки-ноги задрожали, язык прилип к гортани, так я его боялась. Он поднял культю и велел подложить под нее подушку. Потом потребовал массаж. Я не умела массировать; когда он шевелил культей, у меня мороз бежал по коже, я не могла скрыть отвращения. Тогда он потребовал, чтобы я поцеловала культю; я зарыдала. Это еще больше разгневало парня. Дыша чесноком мне в лицо, он схватил меня за низ живота, крепко сжал, начал зверски целовать и кусать меня. Я хотела крикнуть, позвать маму, но он так закрыл мне рот, что я и дышать не могла. Вдруг я заметила стоящую в дверях Айкануш. Я протянула к ней руку, прося о помощи. Но Айкануш отвернулась и ушла.

Мне трудно рассказывать вам обо всем этом, поэтому я больше ничего не буду говорить. Единственное могу сказать, что эти омерзительные действия повторялись ежедневно. Он использовал меня, как бездушную вещь.

По ночам, прижавшись к маме, я плакала и умоляла ее:

– Убей меня, мама, убей!

...Так прошло больше двух лет. Армяне радовались. Районы, которые мы считали неприступными, уходили один за другим: Шуша, Лачын, Кельбаджар, Агдам, Ходжавенд, Физули, Зангилян, Джабраил, Губадлы, Агдере...

Мне исполнилось тринадцать... Впервые в жизни я сердилась на маму за то, что она произвела меня на свет. Если я расскажу все, что произошло за те три года, на это у вас не хватит ни времени, ни терпения.

Как-то рано утром появились три человека – армянин и те двое, кто отвез нас тогда в больницу.

Нас потребовали наверх. Я подбежала к маме и сказала слова, которые давно не употребляла:

– Мама, я боюсь!

Губы у нее были крепко сжаты. Не глядя на меня, мама сказала:

– Бояться уже нечего. Все, чего я боялась, уже случилось. Не бойся, детка, чернее черного цвета нет. Для нашего народа, особенно для женщин, нет ничего выше чести и достоинства. Если хоть одно из этих качеств утеряно, значит, жизнь испорчена, уже не имеешь права ходить с гордо поднятой головой. Мы потеряли все это. Чего ты боишься? До того, как нанесены эти клейма, человек боится смерти. Теперь же смерть – это счастье! Если сейчас раз и навсегда умрем, спасемся. Не бойся, дочка.

Мама говорила со мной, глядя в сторону, высохшая, словно безжизненное дерево. Вдруг, словно ожив, обняла меня, поцеловала и зарыдала.

Тут мы увидели, что пришедшие наблюдают за нами и терпеливо ждут. Оказалось, они знали, что это наша последняя встреча, последний разговор матери и дочери. Потому и дали нам возможность поговорить.

Мы с мамой стояли друг напротив друга. Она словно всей душой, глазами, сердцем, кровью впитывала меня в себя. За годы, проведенные здесь, я впервые мечтала о том, чтобы время остановилось, хотя бы на час. За этот час я хотела рассказать маме все, что должна была, но не смогла или не захотела рассказать, выплеснуть из сердца все. Почему-то мне показалось, что пришедшие хотят увезти маму. Не верилось, что наши хозяева могут отпустить меня – ведь я была успокоительным лекарством этого подонка. Я думала, что после того, как увезут маму, я сделаю то, чего она не смогла сделать, хотя не раз делилась со мной своими планами: я подожду дом Самвела. Но случилось иначе...

Горбоносый армянин повернулся к маме и сказал:

– Попрощайтесь, мы повезем девочку на медицинское обследование.

Мама, взяв меня за руку, гневным голосом сказала:

– Не дам без меня и шагу ступить!

– Э-э, убирайся отсюда! – закричал армянин и оттолкнул маму в сторону. – Кто тебя спрашивает? Много воли тебе дали!

Я даже обрадовалась этой выходке армянина, думала, сейчас иностранцы сделают ему замечание. Ничего подобного. Иностранцы стояли, как пни, и даже бровью не повели. Наоборот, они куда-то торопились и, схватив меня за руку, поспешили к воротам. Мама пошла за нами, дергая армянина и крича:

– Не дам увести моего ребенка! Я должна быть рядом!

Обернувшись к маме, я не отрывала от нее взгляда. Лицо ее побелело, как бумага, косынка упала с головы, вены на шее вздулись. Самвел и горбоносый армянин преградили ей дорогу. Как бы я ни старалась, я не могла хорошенько рассмотреть маму. Бившаяся в руках Самвела как пойманная птица, мама закричала:

– Дочка, я уже не верю в Бога! Нет его, дочка! Поручаю тебя духам погибших, духам шехидов, Рагима! Пусть они помогут тебе! Я не смогла уберечь тебя, доченька! Оставила тебя в руках врагов. Нет у меня больше никого, кому бы могла тебя поручить!

Пока мы ехали, долго еще слышались мамины проклятья земле и небесам. С того дня эти слова ежедневно звучат у меня в ушах.

Меня отвезли в какую-то больницу, сделали многочисленные анализы, проверили все органы и на следующий день отправили на вертолете с красным крестом на борту в аэропорт... Это был Ереван. Там меня повезли в какую-то организацию, передали высокому светлокожему седому мужчине, который сильно нервничал и подписывал какие-то бумаги... Еще он все время куда-то звонил, о чем-то спрашивал. Помню, там было еще человек пять или шесть азербайджанских детей. Потом снова был аэропорт... Я ушла в себя, думала о том, что еще меня ожидает. Куда меня везут? Только сейчас я не смогла бы найти ответы на эти вопросы. После того, как мы покинули нашу деревню, мы ни разу не сталкивались с добром. За каждым добрым по отношению к нам поступком стояло столько водоворотов, столько гнета, столько мук и страданий, что мы стали бояться добра. Встретившись с добром, мы готовились к еще худшим черным дням. В такие минуты мама говорила: «За этим блестящим солнцем стоит такая буря, такой шторм, что кровь застынет в жилах».

...Мы сели в самолет. Мужчина так сильно нервничал, что у него дрожали пальцы. Самолет очень сильно опаздывал. А мужчина так торопился, что готов был чуть ли не сам сесть за штурвал. Через несколько часов мы прилетели.

Привезший же меня мужчина по-прежнему был не в себе...

II часть

Мы подъехали к красивому особняку. В дверях нас встретили три прекрасно одетые женщины. Обняв мужчину, они почему-то заплакали. На меня никто не обращал внимания. Мужчина неохотно кивнул, чтобы я тоже вошла.

В красивой огромной комнате, какие я видела лишь по телевизору, на столе стояло большое фото в траурной рамке. С фотографии смотрела радостно улыбающаяся светловолосая девочка примерно моего возраста.

Этот высокий мужчина, подойдя к фотографии, как будто съезжился, уменьшился в размерах. Он опустился на колени, погладил фото и заплакал. Одна из женщин, прислонившись к нему, тоже заплакала, что-то приговаривая. Я поняла, что девочка, улыбающаяся с фотографии, умерла, этот мужчина – ее отец (женщины называли его Сэмюель), а молодая женщина – мать. Мелькнула мысль: наверное, девочка умерла давно, а меня они удочерили. Мой приезд расстроил их, потому и плачут. Но плач у них какой-то странный. Умершего ребенка у нас оплакивают совсем по-другому – я вспомнила сошедшую с ума тетю Шейду. А у этих даже плач какой-то рассчитанный, взвешенный. Но, интересно, верны ли мои догадки? Потом оказалось, что, конечно же, нет! Цветок чертополоха я приняла за розу.

Наутро после бессонной ночи – я все думала, думала – пришла служанка и принесла на завтрак много всякой всячины. Когда после завтрака я хотела убрать со стола, она мягко отстранила меня. Я спустилась в гостиную.

Там уже было много народу. Дверь открылась, и несколько мужчин на руках внесли длинный

ящик с крышкой. Ящик поставили на стол и сняли крышку. От неожиданности я подскочила: там лежала девочка с фотографии. Мне казалось, что, увидев своего умершего ребенка, и Сэмюель, и его жена умрут от разрыва сердца. Не умерли. Все, как на параде, прошли мимо гроба, расселись на стульях, расставленных вокруг, и застывшим взглядом уставились на умершую. Служанка отвела меня в одну из комнат.

Наутро действия этой семьи вновь удивили меня. Они, как ни в чем не бывало, сели за стол. Потом гроб унесли. Плача слышно не было, люди о чем-то скорбно переговаривались. В доме остались я да служанка. Но дом не походил на траурный, даже поминальный обед не готовили. Хозяева возвратились очень поздно. Они руками погладили место, где недавно стоял гроб, прижались друг к другу и заплакали. И этим завершилась траурная церемония.

Зачем меня сюда привезли? Явно не как прислугу. Относились неплохо, но на удочерение похоже не было. В принципе, я не была недовольна приездом. Единственно о чем я сожалела, так это о том, что они не привезли и маму...

Через несколько дней Сэмюель привел какого-то мужчину-турка. Я обрадовалась – мужчина заговорил со мной на моем языке.

– Они меня удочерили? – спросила я его.

Турок перевел вопрос. Жена Сэмюеля, скорчив гримасу, будто съела кислую алычу, что-то ответила. Сэмюель же улыбнулся и что-то сказал турку. Тот объяснил мне, что дядя Сэм хотел бы меня оставить, но жена против.

То ли мужчина-турок пожалел меня, то ли в нем разыгралась тюркская кровь, не могу сказать, но, схватив своими тонкими пальцами мои руки, сказал:

– Я сейчас возьму и увезу тебя к нам домой. Мои дети уже выросли, у них свои семьи, и моя супруга очень обрадуется. Меня зовут Ахмед. Как зовут тебя, я знаю. Значение твоего имени прекрасно – милосердная, сострадающая, прощающая.

Он перевел это Сэму, выслушал ответ и, очень расстроенный, вновь обратился ко мне:

– Сэм не соглашается. Чтобы вылечить дочь, он купил тебя за огромные деньги. Да не успел вовремя привезти, поэтому врачи не смогли сохранить жизнь его дочери...

Я задумалась: «Интересно, чем это я смогла бы помочь его дочери? Я же не врач».

– Он договорился с одной клиникой, сейчас тебя повезут туда. Через какое-то время я заберу тебя. И в клинике буду часто навещать, – сказал Ахмед.

– Почему меня должны везти в клинику? Я уже не болею!

– Эта клиника согласилась возместить Сэму убытки, понесенные им из-за тебя, – смутился Ахмед.

Я ничего не поняла. Оставшись одна, я заплакала:

– Мамочка, я не знаю, где я нахожусь... Я превратилась в предмет купли-продажи. Не знаю только, кто продает, а кто покупает...

...Через какое-то время меня отвезли в клинику. Ахмед часто навещал меня. Через неделю после анализов и разных вливаний меня повезли в операционную. Когда я очнулась после наркоза, увидела Ахмеда.

– Как ты, дитя мое? Когда ты поправишься, я отвезу тебя к нам домой.

Через несколько дней он забрал меня к себе.

Я была слаба, словно внутри меня образовалась какая-то пустота. Я не знала, что мне оперировали. Жена Ахмеда, Малейха ханум, часто спрашивала меня о моем самочувствии, гладила по волосам, расплетала и расчесывала их. В этом доме я увидела настоящую родительскую заботу. Врачи посадили меня на диету, под одежду мне повязывали теплый пояс. Чем лучше проходили мои дни, тем чаще я вспоминала маму. Мечтала, как после переезда сюда она станет личным врачом семьи Ахмеда...

– Малейха ханум, почему меня поместили в больницу? – спросила я как-то.

– Так ты ни о чем не знаешь, дитя мое? – вздохнула женщина. – У дочери Сэмюеля был врожденный порок сердца, нужна была пересадка. Они накопили на операцию, но не могли найти донорского сердца. Один из живущих здесь армян подсказал, что в Гарабахе много пленных детей, и Армения продает их к нам, в Америку, в качестве доноров. Так тебя и купили, за очень большие деньги. Но, пока вы еще были там, девочке стало хуже, врачи сказали, что не смогут более трех дней держать ее на искусственном дыхании. Еще и самолет опоздал. Так что если бы вы прилетели вовремя, то тебя не было бы на свете. Они хотели тебя полностью продать клинике, но Ахмед их убедил, что дух их дочери не обрадуется этому, ведь ты тоже чье-то дитя. Договорились, что у тебя вырежут какой-нибудь орган. Через какое-то время кому-то понадобилась почка, и его родственники заплатили Сэму. Всю оставшуюся сумму взял на себя Ахмед. Прости нас, у Ахмеда

не было возможности полностью оплатить все расходы. А то бы мы выкупили тебя целую и невредимую.

Малейха виновато взглянула на меня и умолкла.

Про себя я подумала: а что у меня цело? Глаза нет, нога увечная, теперь и почка одна.

Дни мои проходили неплохо. Я часто говорила с Малейхой о маме. Умоляла ее как-нибудь устроить меня на работу, чтобы накопить денег, выкупить у армян маму и перевезти сюда.

Малейха поговорила с мужем, и для меня наняли учителя музыки, чтобы я научилась играть на каком-нибудь инструменте – это хороший заработок. Через два-три урока учительница, Гюльхана ханум, обнаружила, что у меня прекрасный голос. Она попросила меня что-нибудь спеть, и я спела:

Среди чужих ищу родню, исчезнувшую на чужбине.

Надеюсь, что ее найду когда-нибудь, а, может, ныне...

Мои родные чужаки, чужие, ставшие родными,

Мы – как без ветра ветряки, расставшись, стали мы иными.

Мне накупили записей, я слушала азербайджанские и турецкие песни, запоминала их. Решили, что я должна стать певицей: и большие деньги заработаю, и прославлюсь. Я в мечтах тут же заработала эти деньги и перевезла маму к себе.

Однажды, когда мы репетировали, поднялся радостный переполох. Приехал племянник моих благодетелей, высокий, сероглазый красавец-юноша. Малейха радостно обернулась к нам:

– Это Нихад! Он был в Стамбуле на каникулах.

Я тут же опустила ресницы. Почему я так разволновалась? Даже дыхание перехватило...

– Как же тогда ты будешь зарабатывать деньги для освобождения мамы? – посетовала Гюльхана. – Ведь ты должна будешь петь перед сотнями мужчин!

Я подскочила, как ужаленная. Я испугалась ее слов. Испугалась потерять последнюю возможность на освобождение мамы, и начала петь.

Закончив, я услышала аплодисменты. Я оглянулась и почувствовала, что бледнею. В дверях стоял наш гость...

Я страшно смутилась и убежала к себе. От нахлынувших непонятных дум меня оторвал голос Малейхи, звавшей к обеду. Я подошла к зеркалу и внимательно себя оглядела. Обычно я равнодушно проходила мимо него. Вспоминались бабушкины слова, которые та говорила, заболев: «Даже в зеркало смотреть не хочется, правду говорят, что больным и горемыкам не до зеркал». Раньше я верила всему, что говорила бабушка, теперь же отнеслась к ее словам с сомнением. Если я смотрю в зеркало, означает ли это, что у меня нет горя и я совершенно здорова? Вначале я внимательно рассмотрела стеклянный глаз. Из-за него взгляд был застывшим. К тому же он был вставлен, когда мне было десять лет, и был уже мал. Первый раз в жизни, с восхищением разглядывая свой здоровый глаз, я сожалела о том, что одноглазая. Потом оглядела себя всю. Оттого, что одна нога была короче, я стояла кособоко. Встав на кончики пальцев короткой ноги, сделала несколько шагов. Так хромота не была заметна. Вдруг в дверь постучали, и зашла Малейха. Смутившись оттого, что она увидела меня перед зеркалом, я покраснела. Она улыбнулась:

– Пойдем, дитя мое. Или ты хотела переодеться? Надень то платье, с ленточкой, и приходи.

По правде сказать, я и сама хотела его надеть. Только стеснялась – оно было для торжественных случаев.

Обед прошел интересно. Из беседы я поняла, что Нихад учится, а по вечерам поет в ресторане, принадлежащем его отцу. Все в один голос заговорили о том, что у меня прекрасный голос и предложили дяде Ахмеду иногда по вечерам приводить меня в ресторан. Но он категорически отказался, объяснив, что пока мне не выправят документы, это невозможно.

Случайно в разговоре было упомянуто сегодняшнее число, и тут мне будто свет застало. Сегодня день моего рождения! Я вспомнила этот день два года назад. Мерзкие воспоминания пронзали меня, как раскаленные шампуры. Я поняла, что мои дни рождения никогда больше не принесут мне радости. Потому что в прошлом стояло окутавшее и поглотившее меня черное пятно. Пальцы тряслись, я не смогла удержать слез.

Сегодня мне исполнилось четырнадцать, но я не смогла в этом признаться и сказала, что день рождения был вчера...

Заснула я лишь под утро. Проснувшись, увидела гуляющего во дворе Нихада. Интересно, о чем он

думал? Наверное, ночью они обсуждали мои неожиданные слезы, как выкололи мне глаз, как сломали бедро, как и почему удалили почку, рассказали, какая я беззащитная, жалкая, беспомощная. Чем больше я думала об этом, тем меньше хотелось показываться кому-либо на глаза.

Но выйти пришлось.

За завтраком Нихад, не отрываясь, смотрел на меня. «Он не был таким вчера. Наверное, ему рассказали обо всем, поэтому он так внимательно и смотрит», – подумала я и огорчилась. Appetit пропал. Я ушла в себя, мне было себя так жалко! Я не понимала причину моей тоски, причину перемен во мне.

На следующее утро Ахмед отвез меня к главному врачу. Тот, осмотрев меня, забрал мой протез. Я заволновалась – как же я в таком виде выйду к людям? Наверное, я повзрослела. Никогда я не переживала, что кто-то на меня посмотрит, увидит мою хромоту, искусственный глаз, не думала, какое платье мне подойдет, а какое – нет. Раньше все это мне было глубоко безразлично. Наоборот, иногда я радовалась тому, что из-за моего увечья меня пожалеют. А теперь – нет.

Ахмед, поняв мою тревогу, объяснил, что скоро у меня будет новый хороший протез, а пока я могу надеть повязку.

Вернувшись домой, я молила Бога, чтобы гостей уже не было. Но если бы Господь Бог с такой легкостью выполнял бы мои мольбы, о чем бы мы сейчас говорили?!

Первым я увидела Нихада. Все закружилось вокруг, ступеньки ушли из-под ног. В здоровом глазу вдруг потемнело, и я упала.

Очнувшись, я поняла, что все собралось вокруг меня; рядом суетился врач. Я удивлялась их доброте. Все происходящее казалось странным, и почему-то вместо радости я испытала страх. Хотелось убежать далеко-далеко, увидеть маму, излить ей душу и спросить, что все это значит. – Чего только не перенес этот бедный ребенок! – прошептала Малейха, глядя меня по голове и думая, что еще сплю после обморока.

– На ней живого места нет. Если б ее так не искалечили, она могла бы стать ладной женщиной, – сказала Гюльбенд, мать Нихада и сестра Малейхи, то ли в поддержку, то ли в укор – я не поняла.

– Пусть она отдохнет, а мы пойдем поужинаем, – предложила Малейха.

Я обрадовалась. Я хотела остаться одна. Вдруг слова, сказанные Нихадом, и ответ его матери обожгли меня, будто кнутом:

– Мама, она останется здесь одна? Ведь она тоже голодна. Может, разбудить ее?

– Что это ты так разволновалась? Собираешься ее сторожить? Сделали укол, до утра она будет спать. Пойдем, – сказала Гюльбенд, и звуки их шагов удалились, правда, в разных направлениях. Кто-то подошел к окну.

– Бедная девочка, и почему Господь написал тебе такую судьбу? – словно сам с собой говорил Нихад, стоя у окна. – Какая ты нежная и красивая. И почему Он нагрузил тебя такими страданиями?

Он говорил что-то еще, но меня одолел глубокий сон.

Наутро я проснулась на том же диване под теплым покрывалом. Нихад сидел в кресле рядом и смотрел на меня. Я вздрогнула. В первую очередь попыталась вспомнить, во что одета. Вроде в том же красивом платье, в котором ездила к врачу. Увидев, что Нихад бросился ко мне, чтобы помочь встать, я сказала:

– Я сама. Это неудобно. Что скажут, если увидят?

– Почему стыдно, разве не я принес тебя сюда? – спросил Нихад и взял меня за руку.

– Бога ради, уходите, не трогайте меня, я дойду сама. Увидят, упрекнут.

Но на его вопрос, кто упрекнет, я ничего не ответила.

Через два дня мне вставили не отличающийся от здорового глаза новый протез.

Спустя три месяца Ахмед показал мне метрику, написанную на армянском и английском языках.

– Я не умею читать на этом языке, – сказала я

– Что так? Разве ты не жила в Гарабахской Республике?

– Я жила в Азербайджане. Но я из Гарабаха, а он не республика. И занятия там проходят на азербайджанском языке, – сказала я.

– Нет, дочка, Азербайджан упустил свой шанс. Эту метрику прислали мне оттуда. Здесь написано: Гарабахская Республика. Государственный язык там теперь армянский.

Я ничего не поняла, но почувствовала, что говоря: «Азербайджан упустил свой шанс», Ахмед принес мне не лучшую весть.

...Однажды Ахмед сказал:

– В новогоднюю ночь ты впервые выступишь на сцене, в ресторане.

Его слова стали для меня страшной, и в то же время радостной новостью. Я испугалась того, что мне придется выступить перед огромным количеством народа, и обрадовалась тому, что можно будет заработать денег и привезти маму.

Мы без устали репетировали. Наконец наступило тридцать первое декабря. Мне сделали прекрасную прическу, макияж, принесли невероятно красивое платье. И даже туфли из разных пар – с каблукочком и без. Взглянув в зеркало, я не поверила своим глазам. Смотревшая на меня из зеркала прекрасная девушка была не я...

И тут в комнату вошел Нихад. У меня задрожало все, что могло задрожать. С удивленными глазами он обернулся к дяде:

– Кто это?!

Малейха, толкнув локтем мужа, прошептала:

– Говорила я тебе!

Нихад, оправившись от потрясения, стал давать мне советы, как быть, если я начну сильно волноваться. Но вместо того, чтобы принять их к сведению, я задала вопрос, свидетельствующий о моей детской неопытности:

– У вас есть любимая девушка?

Прищурился глазами, он очень внимательно взглянул на меня, будто заглядывая мне в душу, и, словно приняв бесповоротное решение, сказал:

– Пока нет! Но первого апреля, когда мне исполнится девятнадцать, будет!

Я боялась взглянуть ему в лицо.

– Ты ослепительно красива! Сегодня ты напоминаешь красавицу из сказки. Если не будешь разговаривать, и подумать нельзя, что ты живая.

...Когда мы поднимались по ступенькам ресторана, он взял меня под руку, и я строго посмотрела на него.

...Полный зал веселящихся людей меня ошеломил. Я поразились тому, как эти взрослые люди по-детски радовались. Неужели у них нет никаких забот-хлопот? Я повернулась к Нихаду и спросила:

– Здесь все присутствующие турки?

– Большинство. Но есть и женившиеся на женщинах других национальностей. Ну и армян много, может, даже половина зала – армяне. Они ведь очень любят нашу кухню и нашу музыку.

То, как спокойно Нихад говорил об армянах, поразило меня. Я похолодела и обмякла.

Воспоминания моих черных дней окутали меня. Выслушиваемые ежеминутно выражения:

«тюркская сучка», «бейте эту тюркскую ослицу!», «мы не оставим на земле ни одного здорового турка»... и сотни подобных выражений загудели в моих ушах. Говоря нам: «ты турок», какими только пытками нас не пытали, как только нас не истязали! Они всех тюрков считают своими врагами. А турки не считают армян своими врагами, сажают их за свой стол; свои свадьбы, самые чтимые праздники проводят вместе с ними. Как так можно? – подумала я, и пожалела гарабахцев.

Как бы я себя ни сдерживала, все равно мои глаза наполнились слезами. Заметив это, Нихад наклонился ко мне и спросил:

– Что случилось, душа моя?

Я рассказала ему о том, какие мысли и чувства вызвали у меня его слова. Он же ответил:

– Самвел в Азербайджане, в Гарабахе, Рагима. Здесь же все друг другу друзья, братья.

Большинство работающих в этом ресторане тоже армяне.

– Разве твой отец не работает здесь?

– Он руководит. Ресторан принадлежит нам, контроль в наших руках. Но управляет другой человек.

Я так и не поняла, какие же они турки? Раньше я думала, что турки не в курсе событий, они не знают об армянах, стоит им узнать, как они соберутся и уничтожат Армению. Но я ошибалась...

В это время ведущий объявил очередную исполнительницу. Вышедшая на сцену полуголая девица больше танцевала, нежели пела. От исполняемых движений она чуть не вывихнула бедра. Она, как циркачка, крутящая обруч, поднимала руки выше плеч, затем, словно демонстрируя зрителям свое тело, гладила его руками сверху вниз, аж до самых колен. Движения девицы рассмешили меня.

Нихад, никогда не видевший меня смеющейся, опешил.

– Чему ты обрадовалась, Рагима?

С трудом сдерживая смех, я указала на девицу и спросила:

– Почему она вытворяет такое?

– Она поет, танцуя. Ты никогда не видела такого?

– Это не танец. Это пустые, неприличные движения. Ведь стыдно же, – ответила я.

Тогда Нихад, удивленно посмотрев на меня, сказал:

– Какой ты еще ребенок, Рагима!

А девица, подняв ногу из-под прикрепленных к талии нескольких кусочков материи, приставила ее к лестнице, отчего обнажились и те немногие оставшиеся под одеждой места. Мне казалось, что турки сейчас возьмут ее за подол разрезанной на куски юбки и вышвырнут вон. Не тут-то было! Какая я, оказывается, глупая! Зал взорвался овациями. Девица спустилась со сцены в зал и стала подходить к столикам, выставляя грудь на показ. Приметив одиноких мужчин, она присаживалась к ним на колени, а после того, как они что-то засовывали в ее лифчик, с мерзкой улыбкой приблизив лицо к их лицам, вставала и удалялась. Ее поступки вызвали во мне отвращение к ней. Этот ресторан я тоже посчитала безнравственным местом. Хотела сказать Нихаду об этом, но, опасаясь, что он опять обвинит меня в наивности, промолчала...

И тут объявили мой выход:

– На нашей сцене новый голос, новая маленькая тюрчанка, барышня Рагима!

...Гюльхана заиграла вступление, но я вдруг, не обращая на нее внимания, запела совсем другую песню:

Ты праматерь всех желаний, Гарабах, мой отчий дом.

Ты обитель дарований, Гарабах, мой отчий дом.

Ты поешь устами тара, плачешь томной кяманчой.

Край пугливых нежных ланей, Гарабах, мой отчий дом.

Гюльхана подхватила мелодию, и я допела до конца. Зал рукоплескал стоя. Гром оваций меня буквально оглушал.

В программе было всего две песни. Но оттого, что после каждой песни люди вставали и снова приглашали меня на сцену, я спела семь песен. Под ноги мне бросали цветы и ассигнации, но я, как в тумане, ничего не замечала. Только горевшие восторгом глаза, направленные на меня отовсюду. Раскрасневшийся Нихад бросился ко мне с распростертыми объятиями:

– Душа моя, невозможно понять, кто же ты на самом деле! – сказав это, он обнял меня. Мне показалось, что я исчезла, растворилась в его объятьях.

...Он отвел меня к своей семье. Там меня пытались чем-то угостить, что-то спросить, но я была как в прострации.

У меня перед мысленным взором стояла другая пара глаз, которые смотрели на меня вовсе не с восторгом, как вся остальная публика, а со страхом и беспокойством. Это были глаза Гюльбенд. В ушах стояли ее слова:

– Оказывается, мать родила тебя готовой певицей, да возможности не было проявить себя.

Хорошо, что появился повод, и ты не осталась в неизвестности.

Вроде бы ничего оскорбительного не было сказано, но эти слова обожгли меня, как пощечина.

...С того дня моя жизнь изменилась. После занятий Нихад приезжал за мной и отвозил в ресторан.

Потом привозил. Ежедневно мне под ноги бросали столько денег, сколько я не видела за всю свою жизнь. Гюльхана сказала, что из-за моего пения большинство посетителей приходят в ресторан каждый вечер.

...Наступил день рождения Нихада, утро которого он всегда проводил у тети. Малейха застелила дорогую скатерть, поставила самую лучшую посуду и выложила столько подарков и сладостей, что стало непонятно – где она их скрывала до сих пор? День рождения прошел весело, несмотря на дурацкую первоапрельскую шутку Нихада, заявившегося в фальшивой крови, от вида которой тетя лишилась чувств. Я была готова убить Нихада за то, что он сотворил такое с моей любимой Малейхой. К счастью, она быстро пришла в себя и простила своего непутевого племянника-шутника. Через некоторое время она посмотрела на часы и воскликнула:

– Скорее! До рождения Нихада осталось три минуты.

Я удивилась тому, с какой точностью помнит Малейха время рождения своего племянника. И как же она его любит!

...После застолья мы пошли репетировать. В один момент Нихад перестал играть, подошел ко мне и сказал:

– Рагима, помнишь, я обещал сказать тебе, кто моя любимая девушка?

То ли от растерянности, то ли от волнения, я пожала плечами и торопливо ответила:

– На что мне знать? Люби, кого хочешь!

– Ты должна знать. Ведь ты сама спросила меня о любимой девушке, – сказал он, заглянув мне в глаза. – Рагима, девушка, о которой я говорил – это ты. Я готов на все, чтобы порадовать тебя, я готов подарить тебе все счастье мира, чтобы хоть раз ты рассмеялась от всей души.

Я застыла. До тех пор, как я сюда приехала, слово «люблю» я слышала только в кинофильмах и всегда удивлялась, зачем произносить это слово? Разве без него влюбленные не знают, что любят? А теперь мне самой говорят это ненужное слово. В жизни бы не поверила, что кто-то может признаться мне в любви. Чуть ли не бегом выходя из комнаты, я услышала:

– Рагима, с тех пор, как я впервые увидел тебя, все спетые мной песни посвящены тебе, и так будет всегда.

Я убежала к себе в комнату, бросилась на кровать и заплакала. Я не знала, отчего я плачу. Отчего были эти слезы: от радости, от горя или оттого, что я не верила в услышанное? Может быть, мне рано было слышать эти слова? Только потом я поняла, что причина моих слез – ни то, ни другое... Я заранее оплакивала роковой конец моей несчастной любви. Я боялась того, что моя любовь погибнет, не успев расцвести. «Мои самые страшные дни еще впереди», – думала я.

...Вечером я поднялась на сцену. Не знаю, откуда у меня появилась такая смелость, но я взяла микрофон и сказала:

– Сегодня день рождения нашего любимого певца Нихада. Я поздравляю его и все свои песни посвящаю ему.

И я запела. Песни сменяли одна другую. Все букеты Нихад клал у моих ног. Цветов было так много, что буквально негде было ступить. Под аплодисменты деньги, как обычные бумажки, сыпались на меня.

Когда я закончила, Нихад с огромным букетом одним прыжком вскочил на сцену. Отдав букет, он поцеловал меня в щеку и прошептал на ухо:

– Цветочек мой, ты устала, отдохни.

Этот его поступок был настолько неожиданным, что я чуть не сгорела со стыда. Когда я садилась за стол, Малейха, держа меня за руку, поцеловала в щеку и сказала:

– Благодарю тебя, дочка!

Застолье проходило так весело и приятно, что я не обращала внимания на колкости, которые бросала в мой адрес Гюльбенд. Но ее последняя реплика доконала меня:

– Я перепутала твой стеклянный глаз со здоровым. Не смотри, что стеклянный, блестит лучше здорового.

Я не выдержала:

– Чтобы видеть, достаточно и одного глаза. Что касается блеска в глазах, то почему вам кажется, что только стеклянные глаза бывают безжизненными? Есть люди со здоровыми глазами, но их взгляд бессмысленный, как у барана.

Сказав это, я убежала в свою комнату за сценой и долго плакала, глядя в зеркало.

...Как-то после репетиция я с робостью спросила у Гюльханы, куда деваются деньги, которыми нас осыпают во время исполнения?

Гюльхана посмотрела на меня с удивлением:

– Они у патрона, конечно! Ведь все наши сценические костюмы, наше здешнее питание дает он. Но для расходов на семью, на личные расходы нам дается некая сумма. Рагима, тебя не должны интересовать деньги. Лучше всех певцов одеваешься ты. Все твои потребности удовлетворяются. Малейха и Ахмед относятся к тебе, как к собственному ребенку. Да и потом, тебя ведь спасли от смерти. Ты до конца дней своих в долгу перед ними.

– Мне деньги не нужны, – смутилась я, боясь быть обвиненной в неблагодарности. – Я хочу вырвать маму из рук армян.

– Ахмед выкупил тебя за такую сумму, что если ты будешь непрерывно трудиться десять лет и зарабатывать втрое больше, чем сейчас, ты еле-еле покроешь их расходы, – строго сказала она.

...Нихад, увидев в машине мои глаза на мокром месте, спросил, что случилось. Я рассказала и разревелась.

– Не горюй, Рагима! Я сам на свои деньги выкуплю твою маму и привезу ее, вот увидишь!

...Нет нужды объяснять цену этих слов. Хотелось верить, что он привезет мою маму.

...В один из последних дней лета, проснувшись и открыв дверь, я увидела, что весь мой путь от спальни до столовой буквально завален охапками роскошных цветов. Я ничего не понимала. И тут появился Нихад.

– Поздравляю тебя, Рагима!.. Пусть самая большая радость в мире и лучшие в мире цветы будут твоими, – сказал он и протянул мне коробочку. Внутри коробочки сверкала цифра «15» и лежал очень красивый перстень с выгравированными буквами «N» и «R».

– Сегодня двенадцатое. Год назад дядя Ахмед спросил тебя про твой день рождения, ты сказала, он был вчера. Я запомнил. Мы познакомились на следующий день после твоего дня рождения. Я не забыла. Тогда, вспомнив самые несчастные дни моей жизни, я заплакала и сказала им, что мой день рождения был вчера. На самом деле я родилась тринадцатого. Начиная с того года, моим днем рождения считается двенадцатое число.

В тот день для меня устроили небывалый праздник. Малейха так же, как для Нихада, накрыла праздничный стол с самой красивой посудой, подарила замечательный подарок. Меня с ног до головы одели во все новое. Вечером собрались в ресторане. Только откуда такое счастье сироте, чтобы вдоволь порадоваться? Недолго длилось веселье. На завтра, то есть в мой настоящий день рождения, Нихад привез меня на работу. Только я приготовилась к выходу, в дверь ворвалась Гюльбенд.

– Ах, ты нахалка, бесстыдница! Блудница, переспавшая с сотней солдат!..

И еще много-много чего... Потом с пеной у рта она бросилась на меня:

– Мой сын тебе не пара! Не сбивай его с пути! По какому праву ты носишь его перстень на пальце?! А ну снимай!

И Гюльбенд стала сдирать перстень. Никогда в жизни я так не пугалась. Даже среди армян. Потому что тогда рядом была мама. А сейчас мне показалось, что я одна в руках армян. Когда я вскочила, чтобы защититься, комната вместе с Гюльбенд закружилась вокруг меня. Земля ушла из-под ног, и я потеряла сознание.

Очнулась в постели. Ахмед, Малейха и Нихад были рядом. Я схватила Малейху за руку и заплакала. Разве мог мой день рождения пройти весело?!

С того дня Нихад не возвращался домой. А я не выходила на работу. Мне стыдно было там появляться. И Малейха, и Ахмед после того дня были очень подавлены. Нихад никуда не выходил, только на занятия и обратно. Чувство страха, пережитое в стойле, в доме Самвела, вновь вернулось в мою жизнь. Ежеминутно, ежесекундно я ждала появления Гюльбенд. Так продолжалось месяц. Мне даже показалось, что Малейха не так ласкова ко мне, как прежде; она все время молчала...

Однажды я не выдержала, обняла Малейху и заплакала:

– Малейха ханум, это все из-за меня! Я к маме хочу, к маме! отошлите меня обратно, прошу вас!

Или сдайте в клинику, пусть возвратят вам потраченные на меня деньги. У меня ведь много органов! И я закончу счеты с этой мерзкой, страшной жизнью...

Малейха обняла меня и, заплакав, сказала:

– Дочка, причина моего подавленного состояния не ты. У меня самой было немало ошибок в жизни. Я очень виновата! Я сама с собой веду внутреннюю борьбу, и все безрезультатно.

...Нашему разговору помешал чей-то неурочный визит, и Малейха вышла. Вдруг в прихожей раздался ее гневный и взволнованный голос, голос женщины, которая всегда говорила тихо и ласково. Говорила она с Гюльбенд, которая соизволила придти. Из невольного подслушанного разговора Малейхи и Гюльбенд я узнала такое, что сбilo меня с толку, ужаснуло, но в то же время многое объяснило.

– Кто тебе дал право позорить моего сына? – кричала Малейха. – Разве мы с тобой так договаривались? Я больше не разрешу ему приходить к тебе. Это моя ошибка, я виновата перед своим сыном!.. И сейчас ты пришла не из-за того, что беспокоишься о нем, а потому что без него упала прибыль ресторана! Ни он, ни Рагима туда не вернуться!

...Так я узнала, что Нихад – сын Малейхи. Жалея Гюльбенд, у которой после первой дочки сыновья рождались мертвыми, отец сестер решил, что если Малейха родит мальчика, то отдаст сестре. Малейха не хотела, Ахмед тоже, но решение отца не обсуждалось. Ей лишь удалось кормить Нихада больше года. Я узнала, что Гюльбенд в 14 лет отдала Нихада в ресторан зарабатывать; что когда он болел, у его постели сидела Малейха, Гюльбенд были нужны лишь деньги.

– Зачем ему эта калека?! – орала Гюльбенд. – Она ему даже родить не сможет!

– Ты вот не была калекой, а мертвых рожала! – воскликнула Малейха.

Она выпроводила Гюльбенд, вернулась на кухню и увидела меня с побелевшим от услышанного лицом. Обняв меня и уткнувшись в мои волосы, она говорила, говорила, говорила...

Рассказывая мне свою семейную тайну, Малейха горько плакала. Я утешала ее, как могла. Сказав

«Малейха ханум, если бы у вас и Гюльбенд не были бы так похожи глаза, никто бы не подумал, что вы сестры», я выслушала еще одну, не менее поразительную историю. Которая, к тому же, прекрасно отражала всю суть армянского народа.

Оказалось, что отец Малейхи прижил незаконную дочь от прислуги-армянки. Разразился семейный скандал, отец девушки требовал – или женись, или забирай дочь. Горе матери Малейхи было безмерным, но девочку пришлось взять, и чтобы ребенок – который ни в чем не виноват – никогда не узнал правду, у нее было всё самое лучшее. Из-за всей этой истории семье пришлось уехать в Америку. Но когда Гюльбенд подросла, ее нашла родная мать, и Гюльбенд все узнала. Она устроила воспитавшим ее родителям страшный скандал, мол, вы украли меня, насильно отняли у родной матери – так ей сказала Жанна, нагулявшая дочь армянка. Чтобы избежать влияния родной матери и, как следствие, возможного брака с армянином, отец срочно выдал Гюльбенд в шестнадцать лет замуж за своего племянника Мехмета. Но, сколько бы ни старались, они не смогли победить армянскую хитрость: Гюльбенд перевезла всех родственников сюда – мать и двух ее детей от других мужчин. Когда Гюльбенд выдала свою дочь Гюнеш замуж за армянина, дед не выдержал и умер от инфаркта. Сейчас все работники Мехмета – армяне. После замужества Гюнеш родители Малейхи настаивали на том, чтобы Малейха взяла Нихада – который ничего не знает – обратно, потому что дед завещал вернуть его истинным родителям. Тот, кто имеет в крови армянскую примесь, не может быть другом турку!..

Гюльбенд все-таки уговорила Нихада вернуться домой, но в ресторан он не вернулся и каждый день приходил к нам.

...Однажды он сказал:

– Рагима, мне необходимо знать одну вещь. Любишь ли ты меня? Мне не нужно твое вынужденное согласие из безысходности или беззащитности. Я буду ждать до тех пор, пока ты не полюбишь меня, я все для тебя сделаю, если ты меня полюбишь!

Слова Нихада смущали меня настолько же, насколько были приятны. Ведь когда я его не видела, ко всему становилась безразличной. Вдруг мне захотелось, чтобы мама знала об этом. Чтобы она была рядом, и я могла с ней посоветоваться:

– Хочу маму. Если привезем маму, я буду решительней.

В скором времени наступил день рождения Ахмеда, ему исполнялось сорок пять, и этот день решили отпраздновать в роскошном турецком ресторане. Там я и Нихад в качестве подарка долго пели дяде Ахмеду. Ресторан после каждой песни взрывался аплодисментами.

На следующий день нам с Нихадом предложили там работу.

– А Мехмет бей не обидится? – спросила я.

– Лучше пусть Мехмет займется воспитанием своей жены! – отрезала Малейха. – Пока его жена так грубо разговаривает с людьми и вмешивается в его дела, он всегда будет в убытке...

Через месяц работы я получила столько денег, сколько никогда не держала в руках и даже не видела.

– Мы сможем на эти деньги выкупить маму? – спросила я Нихада.

– Нет, Рагима, пока нет! Не переживай, если я тебе обещал, значит, я привезу твою маму сюда. Деньги я отдала Малейхе на сохранение.

...На Новруз-байрамы я купила ей изящный веер, а Нихаду ко дню рождения перстень с двумя переплетенными сердцами.

– Я больше не сниму этот перстень, потому что ты сама надела его на мой палец, – сказал Нихад и нежно поцеловал мои волосы.

В тот вечер я выступила на сцене с песней собственного сочинения:

Убегаю в ночь, но утро я тобою открываю.

Понапрасну от тебя я убегаю, убегаю...

Что за мир в тебе безбрежный, мир загадок, откровений?

Видно, тщетно эту тайну разумом понять желаю.

...Однажды он увидел, как тщательно я скрываю хромоту, и сказал:

– Чего ты стесняешься, Рагима? Ходи свободно. Разве я не знаю о твоей хромоте? Ты со всеми своими недостатками для меня самая лучистая, теплая и родная, как солнышко. На солнце тоже есть пятна, однако жизнь без него бессмысленна.

...Но через несколько дней все рухнуло. Ожидался приезд сыновей Малейхи и Ахмеда, и за несколько часов до самолета Нихад, который должен был встретить их на своей машине, пошел

домой. Из разговора Гюльбенд и Мехмета, которые не видели его, он и узнал, что не их сын. В истерике он прибежал к нам и потребовал рассказать правду.

Малейха, обнимая и целуя сына, сказала:

– Поедем, встретим твоих братьев. По возвращении все тебе расскажем.

Ахмед возразил:

– Тебе не нужно ехать, сегодня дождливо, подожди нас дома.

Но Нихад не послушал, завел машину, усадил Малейху и Ахмеда и уехал. Я смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Я была очень беспокойна. Часто поглядывала на часы. Прошло три часа. Во дворе остановилась другая машина. Это были гости, но Малейхи и Ахмеда не было. Открыв дверь, я приветствовала вошедших. Увидев, что родители не встречают их, братья шуточно закричали:

– Мамочка, да разве можно столько спать?

И тут зазвенел телефон. Один из сыновей поднял трубку. Он побледнел и сказал брату:

– Отец и мать попали в автомобильную катастрофу, отец погиб, мама и Нихад в тяжелейшем состоянии.

Дальнейшее помню смутно.

Мы приехали в больницу. Одна сторона лица Нихада, в шутку раскрашенного кровавой краской первого апреля прошлого года, была иссиня-черного цвета. От красавицы Малейхи не осталось и следа. Она попыталась открыть глаза, но не смогла и прерывающимся голосом прошептала:

– Раги... Гюльбе... отда... йте!

Это были ее последние слова. Я бросилась к ней, стала целовать ее испачканные в крови руки. Медсестра закрыла ее простыней и выкатила в коридор. Я схватила Нихада за руку и бессвязно зашептала:

– Нихад, открой глаза, это я, Рагима! Ты моя последняя надежда, Нихад! Что я буду делать, если тебя не станет? Не оставляй меня одну в этой чужой стране! Ты ведь говорил, что все сделаешь для меня, если я полюблю тебя! Я люблю тебя! Если ты готов сделать для меня все, не умирай! Живи для своего счастья, живи, чтобы дать жить мне!

Нихад попытался сжать мою ладонь, но его рука бессильно разжалась.

Прильнув губами к его руке, на которую я совсем недавно надела перстень, я испуганно целовала эту холодеющую руку. Хотела откинуть волосы с его лба, и рука моя окрасилась его кровью в ярко-красный цвет. Когда медсестра закрыла ему лицо, я словно потеряла разум, закричав:

– Нет, он не может умереть! – и попыталась снять простыню с его лица. Но сил не хватило. Рука ушла в никуда.

Это была моя последняя встреча с Нихадом.

Десять дней я оставалась с Гюльханой. Затем приехали сыновья Ахмеда, продали дом и отвели меня к Гюльбенд. Я умоляла их не делать этого.

– Это завещание нашей матери, – с сожалением сказал старший сын.

– Клянусь Богом, она не могла так сказать! Она хотела сказать «не отдавайте». Дыхание ее прерывалось, поэтому вам послышалось. Вы же не знаете всего!..

Но на разговоры со мной у них не было ни времени, ни желания.

С того дня все мои надежды обратились в прах. Со смертью Малейхи скончались самые доброжелательные женщины в мире. Со смертью дяди Ахмеда покинули мир все самые благородные, самые великодушные мужчины. А без Нихада что за жизнь?..

Начались нудные, противные дни. Не могу сказать «черные». У меня было столько черных дней, что в сравнении с ними эти дни нельзя было так назвать. Теперь, когда надо, я уже могла и метко ответить, и постоять за себя...

Гюльбенд же превратилась в гремучую змею:

– Чтоб ноги твои отсохли! Стоило тебе появиться, я лишилась своего сыночка!

– Чего ты хочешь от меня? Он не был твоим сыном! Он был для тебя только средством обогащения! Ты стала причиной его гибели! Узнав, что он не твой сын, он от волнения не справился с управлением!

Когда Гюльбенд замахнулась, чтобы ударить, я перехватила ее руку:

– Отдай мою метрику, я уйду. Я не хочу оставаться с вами.

– Не зарывайся! Ахмед бей потратил на тебя кучу денег! Разве ты человек? Ты всего лишь наше имущество! Как захотим, так и поступим.

– А разве деньги, потраченные на меня, Ахмед бей взял у вас? Тогда какое вам дело до этого? Ты

никогда не сможешь быть такой, как Малейха! Тебе от турок досталось только лицо! Во всем же остальном ты не сможешь быть турчанкой! Потому что вышла из армянской утробы.

Эти слова взбесили Гюльбенд. Она не простила мне этой гневной отповеди и продала меня, как вещь, сюда, в Европу. Это ресторан одного из родственников матери Гюльбенд. Денег нет, документов тоже. Самое ценное, что осталось у меня от той жизни, это видеокассета с записью нашего с Нихадом выступления на дне рождения дяди Ахмеда.

До прошлого года я все искала возможности убежать отсюда, но после разговора с прибывшей из Азербайджана гарабахской девушкой передумала убежать. Она рассказала, с каким презрением относятся в Азербайджане к беженцам...

...Я стала бояться возвращения домой. И мне еще больше жаль маму. Я смирилась со своей судьбой. Ежедневно кто-то приходит, платит и уводит меня. Я предупредила хозяина, что если меня кто-то попробует использовать для своих телесных утех, я покончу с собой, и петь будет некому. Поэтому меня увозят как певицу. Иногда, как вы, интересуются моей жизнью, были даже такие, что предлагали жениться. Были и другие, что заставляли петь до утра, пока дыхание не перехватит. Одним словом, «человек, сдаваемый в аренду», – горько пошутила Рагима.

На ее худющем пальце я увидела перстень с выгравированными буквами «N» и «R». Слезы, полившиеся из глаз, когда Рагима закончила рассказ, собрались между буквами, образовали маленькое озерцо. Оно переполнилось, перелилось через края перстня и исчезло между ее исхудалыми пальцами. Она долго молчала. Наконец, с трудом собравшись, она с трепетом в голосе сказала:

– У меня осталась единственная надежда, что Гарабах освободят, и я получу вести о маминой судьбе. Но вот уже более десяти лет, как проводятся безрезультатные встречи и беседы.

В это время в дверь постучали, время, отведенное нам, закончилось.

Мы со слезами проводили ее. Когда она садилась в машину, посмотрела на нас умоляющим взглядом:

– Освободите Гарабах! Возвратить Гарабах – это значит возвратить честь, достоинство, гордость, решимость всех азербайджанцев, живущих на Земле!

Эпилог

Рассказом Рагимы настолько потряс меня, что я даже не заметила, как очутилась в самолете. Закрыв глаза, я вдруг вспомнила работавшего года три назад в маршрутном автобусе мальчика десяти-двенадцати лет. Взглянув на меня, он улыбнулся и сказал:

– Садитесь, доктор.

Я подумала, что он путает меня с кем-то, и объяснила, что я не врач.

– Простите! Мне кажется, вы похожи на мою маму. Говорят, она была очень красивой женщиной. Она была врачом. А отец был бойцом. Но никого из них я не помню. То ли попали в плен, то ли погибли.

– А как же случилось, что ты остался жив? – спросила я.

– Меня, завернутого в платок, нашли на обочине дороги. По словам односельчан, у меня была сестра по имени Рагима. А меня зовут Рагим. Сейчас я работаю на маршрутках и зарабатываю деньги. Слава Богу, могу себя прокормить. Только вот учиться не могу. Это только с вами я делюсь, тетя, а так никому не говорю о том, что беженец. Когда узнают, что ты беженец, тебя не уважают. Даст Бог, вернем земли, тогда увидят, что и мы не из землянки вышли. И у нас были хорошие дома и сады.

Слова мальчика и его веселая улыбка очень тронули меня.

Сейчас я почему-то поверила в то, что этот мальчик и был тем самым завернутым в платок младенцем, братом Рагимы, которого они с матерью потеряли в ту роковую ночь. Поверив в это, я нашла утешение в том, что он остался жив, и невольно улыбнулась. Спрятав руки подмышками и втянув голову в плечи, я попыталась уснуть, чтобы поскорее прилететь в Баку. Почему-то мне показалось, что Рагим ждет меня в бакинском аэропорту. Ждет вестей о своей сестре Рагиме...

2003-й год.

Об игре «Сорвал папаху – беги»

Миниатюра

То ли я устала от этого мира, то ли я пресытилась им, то ли обиделась на него – не знаю. Знаю только одно: не обласкал меня этот мир, не погладил израненное сердце, тоскующую душу, глаза, смеющиеся сквозь слезы. Укрывшись за кривой, застывшей на лице улыбкой, приютилась я в дальнем уголке мира. Наблюдаю за круговращением, затеянным этим миром. Идет игра. Называется она – «сорвал папаху – беги». И я была когда-то участницей этой игры. Но ни начать эту игру, ни закончить ее не удалось...

Да и как закончить то, чего не начинала?..

Очень старались и меня вовлечь в эти игры эпохи. Хотели сорвать мою папаху и убежать, чтобы я, рассердившись, бросилась за ними и превратилась в одного из главных участников игры. Но я почувствовала это и не поддалась, не испугалась, вплела папаху в свою косу, скрепила ее корнями волос, вращала в черепную коробку, склеила с костями и не позволила сорвать ее с моей головы. Это причиняло мне боль, страдания, заставляло меня спотыкаться на ухабистых дорогах. Но нет. Какую бы боль ни причиняла мне папаху каждый раз, когда участники игры пытались сорвать ее с моей головы, в конце игры, видя папаху на своей голове, я радовалась, гордилась своей победой. Я грелась в лучах своего достоинства, мужества, отдыхала в тени своей отваги, доблести, храбрости, а крылья моей гордости настолько распрямлялись, что высушивали кровоточащие раны на моей груди, и я смеялась над теми, кто не мог со мной справиться.

На самом деле я знала, что в этой игре я одержу победу. Поэтому и хотела бы играть до конца. Вот только если бы и вокруг меня были бы такие же игроки, если бы члены моей команды не позволили бы очень скоро вывести себя из игры. Но что поделаешь, они не захотели мучиться, страдать, стараясь удержать папаху на своей голове, они предпочли быть охотниками в этой игре, охотниками за чужой папахой. И я, оставшись одна, сталкивалась с еще большим количеством нападающих.

Сейчас я вне игры. Сейчас я сижу в дальнем уголке и наблюдаю. Увидев новеньких, только что вступивших в игру, болею за тех, кто пытается уберечь свою папаху. Огорчаюсь, когда кто-то после долгого терпения, в конце концов, теряет папаху, сожалею о том, что он не догадался приклеить ее к голове, проливаю горькие слезы.